

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 140, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 43, 46, 50.

Ненавистничество борзописца

В книге «Камешки на ладони» Владимир Солоухин неустанно ведет пылкий поиск самых сокровенных свойств труда литератора и его самого, благодаря чему он обрел эстетическое открытие, не существующее вне нравственности: самым определяющим словом писателя и художника он находит вообще, и самый большой комплимент ему в слове – исследователь, и как исследователь он должен быть элементарно добросовестным.

«Переделкинские прогулки» не отвечают сколько-нибудь этой первой элементарной добросовестности. Ткаченке запомнилось, что моя мама работала в буфете, но где и когда, это он смыкает для моего унижения: «В войну его мамаша работала в заводском буфете (в войну мама не работала в заводском буфете, да и буфетов, коль на то пошло, там не было), и каждый день после школы Коля забегал к ней (кто бы меня пускал без пропуска на комбинат огромного оборонного значения? Производ принадлежного сознания!), прятался под буфетную стойку и ловил хлебные довески, которые ловко смахивала при взвешивании с паек любящая единственного сынка мамочка-одиночка».

Только раз, всего лишь раз я ел на работе у мамы: в столовой при кооперации, в мастерских которой делали гвозди, шурупы, тачали сапоги, катали валенки... Это случилось в день нападения фашистской Германии на нашу страну. Я рыбачил на Второй плотине Магнитки. Едва узнав о том, что началась война, подался с двоюродным братом Саней Коноваловым в город. По пути на 13-й участок мы зашли в столовую, где мама была раздатчицей. Погоревали вместе с нею, слопали по тарелке горохового супа, такого вкусного супа ни до, ни после мы не ели, и направились домой. Свое ко мне ненавистничество борзописец переносит на мою маму, впрочем, вина перед ним у нее в том, что она родила добродетельного сына, помогавшего утешению судеб даже ткаченки, поскольку их жены, дети, домочадцы, в отличие от него, были хорошими людьми.

К раздатке за пайками

Невежество разгильдяйски аукнулось в ткаченкиных подробностях. В буфете моя мама работала лишь до войны: в кинотеатре «Магнит». Там тогда показывали еще немые фильмы. В этот буфет я наведался, но ни под стойкой, ни за стойкой я не бывал. При санитарной строгости той поры маму мигом бы турнули оттуда. Ради справедливости уточню: в буфете кинотеатра продавались пирожные, штучные шоколадные конфеты в фантиках, бутерброды с голландским сыром и копченой колбасой с глазками сала, пластики нарезной красной рыбы, песочные кольца с ореховой дробленкой, сливочное и фруктовое мороженое (я предпочитал фруктовое), вишневый морс в бутылках. Ничего, что содержало масло и жир или даже намек на них, мой организм не принимал. Безответственность «помогла» Ткаченке перепутать раздатку столовой с буфетом. С год-полтора в войну мама работала хлебобрезкой в раздатке столовой ремесленного училища № 1. Резала она хлеб на виду: около раздатчиц, которые наливали супы и ставили их на подносы официанток, они же доставали из баков второе: кашу или мятую картошку, добавляли наперсток хлопкового масла и накладывали мелко порезанную вареную печень, либо одну котлету, либо паровую селедку, а чаще всего соленую. Все запросто просматривалось, однако, под надзором мастеров и дежурных ремесленников. В тот период я еще ходил в школу, оставленный в седьмом классе на второй год. Перед занятиями нам давали бутерброды с постной колбасой и сладкий чай, а на большой перемене кормили супами и котлетами с гарниром. При моем сверном аппетите мне хватало этой кормежки с перебором.

В августе 1942 года я стал ремесленником училища металлургов № 1, где всех учеников снабжали одеждой: от нательного белья до теплых бушлатов и шапок. Была и красивая парадная форма: фуражка офицерского покроя с кокардой серпа и молота, репсовая гимнастерка, репсовые и суконные брюки, ботинки черного хрома. К брюкам приобщался широкий ремень с дивной никелированной пряжкой.

Питание обеспечивалось трехразовое, с пайкой хлеба, сперва восьмисотграммовой, потом – на сто граммов меньше. Маму я видел издали, из зала столовой. К раздатке за пайками – на завтрак, обед и ужин – ходили с деревянными подносами мастера или старосты групп, они отвечали за полновесность паек. Моей



маме, да и другим хлебобрезкам не было резона ущемлять в хлебе мальчишек и девчонок: предусматривался государством со времени продуктовых карточек коэффициент на усушку и утруску, благодаря чему оставался у тщательной хлебобрезки законный кирпичик черняшки, а иной раз выпадала целая буханка, когда хлеб привозили холодный, то есть выделивший влагу.

С уклоном в электричество

Я был зачислен в группу электроцифровых мастера Скрипника, эвакуированного из Днепрпетровска, у него было четверо детей, и маме нет-нет и удавалось поддерживать их хлебом.

Кроме уроков по физике с обширным уклоном в электричество, нам вменяли производственную практику:

на токарных операционных станках мы обтачивали чашки для «катюш» (по ним запускались реактивные снаряды) и цилиндрические отрезки хвостовиков для мин, в слесарной мастерской делали ножовками по металлу, напильниками, зубилами рейсмусные плитки – инструмент для разметки на стальных заготовках, во дворе или корпуса мин из ваграночного железа, в кузнице закачивали в масле рессоры и токарные резцы. До ужина занимались военным делом: шагстикой – маршировали строем, рубили перед военруком – раненым офицером, кидали гранаты, и ужин – ходили с зажигательной смесью, готовились к ведению штыкового боя (вертикально поставленные соломенные

маты пронзали штыками тяжелых винтовок-муляжей по команде «Длинным – коли!»), разбирали и собирали карбины и автоматы. Зимой мы находились в краснокирпичном здании ремесленного училища и на территории его производственных служб с темна до темна, потому просветов почти не бывало. С весны 1943 года началась практика по специальности. Меня определили учеником электроцифрового на доменную подстанцию, самую крупную и сложную на металлургическом комбинате.

В конце лета моя мама угодила в лагерь для заключенных. Событие это прискорбно-сложное, причиной ему стали ее милосердие к нищим барачным семьям, сострадание к одиночеству бедным женщинам. Освободят маму по амнистии после завершения войны с Германией и Японией.

Через год меня выпустили из ремесленного училища по седьмому

разряду (только троем ученикам из сорока присудили седьмой разряд) и оставили электроцифровым на доменной подстанции. Трижды я еле выжил, отравившись доменным газом, который попадал из треснувшего пня домны в кабельный подвал подстанции.

Бабушка Мария Петровна, мама моей мамы, получала на иждивенческую карточку триста граммов хлеба, я, на рабочую карточку, – семьсот. Чтобы хлеб мы получали поровну, я ежемесячно отдавал бабушке из своей карточки талоны на шесть килограммов хлеба. Питался в столовой доменного цеха по талонам

продуктовой карточки. Час двадцать минут пешего хода и езды трамваем на работу, столько же обратно, восемь часов дежурства, не меньше часа пешедралом и трамваем на занятия (поступил в девятый класс, перешагнув через восьмой, в школу рабочей молодежи), столько же назад, до этого – четыре-шесть уроков.

Без лишних слов

Предположение, что я вызван в ЦК для поправок в верстку второй половины романа, определенный в 12-й номер, к вечеру отпало. На завтра вместе со мной пригласили к Беляеву Лакшина и Хитрова. Беседу, было покотившуюся на вчерашней волне, удерживал Александр Голанов, помощник П. Н. Демичева, секретаря ЦК по идеологическим вопросам.

Мы наострились уйти, однако Лакшина и Хитрова отпустили, а меня после обеда попросили вернуться. Тут и обнаружилось, зачем вызвали из Калуги – вторую половину повести «Юность в Железнодорожье» надо довести с учетом выраженных пожеланий. Спешить не стоит. Через два, через три месяца, через полгода – ничего страшного, окончание повести будет опубликовано, зато обойдется без нападков в печати. И тут меня, наконец-то, оповестили о письме ветеранов Магнитки из московского землячества к Сулову и Тяжелникову с требованием прекратить публикацию повести как клеветнической.

– Альберт Андреевич, из двенадцатого номера я не уйду, – сказал я.

Еще утром, когда по телефону я говорил с Кондратовичем, он предупредил,

что Александр Трифонович будет допоздна ждать меня в журнале. Я зашел в кабинет А. Т. вечером, в половине одиннадцатого.

– Ну что? – весело спросил он, и его голос оборвался. – Вы остаетесь в двенадцатом номере?

– Остаюсь.

– Молодец! Мы защищали вас, но мы бы ничего не могли поделать, если б вы решили забрать окончание.

Он сидел за старым канцелярским столом, чуть ли не упираясь грудью в столешницу. Пиджак внакидку. Полы сведены перекрест. Тепла в кабинете хватало. Отнюдь он не зябнул. Он создавал, мнится, внутренний уют для предельного прояснения впечатлений, которые металась в его многотревожной душе.

Красиво зазвонил телефон, прямо-таки рулады, и прочный баритон, отполированный привычкой к внушениям, прозвучал на весь кабинет:

– Александр Трифонович, Воронов согласился забрать повесть на доработку, – лихо отчеканил Беляев, без лишних слов, стремительно чисто, настолько был изжит стыд.

Письмо Лакшина

Письмо Владимира Яковлевича Лакшина – критика, литературоведа, прозаика:

«Прожил в Дубултах полный месяц, как в монастырской гостинице, почти из кельи не выходил, газет не читал.

Сейчас в Москве прочел задним числом и выяснил, что пропустил целый ряд событий в международной и внутренней жизни, в том числе к стыду своему, и ваш юбилей.

Примите, хотя и с опозданием, мои самые сердечные поздравления. Я с удовольствием храню память о наших встречах в «Новом мире», тогда мы готовили к печати Вашу «Юность в Железнодорожье», «Гибель такси» и чудесную, всеми подробностями памятную «Голубиную охоту».

Я рад, что вам еще так мало лет (совсем юность для прозаика), а столько уже сделано, и очень надеюсь, что вам повезет написать, а нам прочесть – новые замечательные книги.

Мой самый сердечный привет Тане и детям. Искренне Ваш Лакшин. 4.12. 1976 года».

Письмо Эрнста Ивановича Сафонова:

[...] «Тебя в обзорах не забывают упоминать, но ты, Николай Павлович, по-моему, всегда умел видеть далеко и прицельно – не бери на веру! Очень хочу надеяться (и надеюсь!), что все они не выбили тебя из седла; по-прежнему ты задорен, колоч и оптимистичен»

Продолжение следует